

ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ

ПИСЬМО СТАНИСЛАВУ КУНЯЕВУ

Дорогой Станислав Юрьевич!

Спасибо за присланную книгу “И бездны мрачной на краю...” с таким тёплым и дружеским автографом. В течение многих дней был я полностью поглощён медленным и сосредоточенным чтением, а когда оно было закончено, то я не сразу кинулся писать тебе, чтобы выразить сердечную признательность за столь глубокое проникновение в суть творчества Юрия Кузнецова. Все эти дни был я наполнен тем подспудным волнением, охватившим меня, которое вызвала во мне твоя замечательная исследовательская и вместе с тем мемуарная книга. Она безусловно является твоим духовным памятником Юрию Поликарповичу. Об этом же пишет в своём обширном послесловии и Владимир Бондаренко.

В главе 1 (“Поминки”) мне было интересно узнать о том, что Юрий Кузнецов “давал злу равные права с добром”, а также и то, что всё, что “падает и рушится, великий ноль зажал в кулак”. И совершенно неожиданным показался мне литературоведческий разбор Вадимом Кожинным стихотворения о старом дубе, в прогнившей древесине которого “свищет нечистая сила”. Кроме того, запали в душу твои, Станислав, рассуждения о нашем поэте: “Он ходил по краю тёмной бездны, чтобы разглядеть её суть, её мощь, её масштабы”. Эти прозорливые мысли абсолютно созвучны и моим ощущениям от многих стихов Кузнецова.

Из этой первой главы я узнал и такие подробности, как, например, открытие памятника поэту на Троекуровском кладбище в Москве. И что автором памятника является скульптор Пётр Чусовитин, друг Юрия Кузнецова. А другой друг поэта, его ученик, священник Владимир Нежданов освятил этот надгробный монумент, созданный в основном на те средства, что были собраны благодаря давнему и проверенному временем своеобразному русскому обычаю “шапка по кругу”. И как замечательно, что на памятнике начертаны строчки стихов Кузнецова, выражающие наиболее полно и объёмно духовную суть поэта, его как бы завещание будущим читателям и поклонникам его творчества:

*Но русскому сердцу везде одиноко.
И поле широко, и небо высоко.*

Познавателен был для меня и твой философский посыл относительно незаконченной Юрием Кузнецовым поэмы “Рай”. При жизни поэта у вас был

разговор о будущей поэме. Ты сказал тогда Кузнецову, что Рай бестелесен и его вряд ли можно изобразить Словом. Юрий Поликарпович вместо спора процитировал один из отрывков поэмы: “Вечная туча летела в Божественном мраке...” Ты восторженно восхитился и воскликнул: “Юра! Ты совершил чудо, ты превратил свет в материю!” Это, конечно, твое истинно поэтическое восприятие Рая, наиболее точное объяснение нематериального и виртуального мира. И вот в конце первой главы ты делаешь вывод: “Я думаю, что Поликарпыч заслужил свет”. Эта фраза сразу же запомнилась мне. Верю, что запомнится она не только мне, но и твоим читателям, высоко ценящим творчество нашего выдающегося поэта. Но с обострённой болью вошли в мою душу последние, прощальные слова, сказанные перед смертью Вадимом Кожиновым: “Все аргументы исчерпаны”. А Юрий Поликарпович сказал, как выдохнул, только одно, но такое обобщающее и как бы подводящее итог всей его духовной и физической жизни, слово: “Домой!” Произнеся это слово, он покинул дом Земной, устремившись в дом Небесному... Меня зазнобило. И побежали мурашки по телу.

Из 2-й главы я впервые узнал о твоём знакомстве с поэтом. Ты пишешь, что познакомились вы в начале 1970-х годов прошлого века, в малом зале ЦДЛ, где прошло первое выступление Кузнецова перед московскими литераторами и любителями поэзии, устроенное Вадимом Кожиновым. Откровенно и подробно ты пишешь о своём первом впечатлении от прочитанных Юрой стихов. Они восхитили тебя и вместе с тем озадачили. Ты уловил в них то, что они не наполнены полнокровным лиризмом, так присущим русской поэтической традиции. А во время дружеского застолья ты вдруг узнаёшь, что поэзия Маяковского и рассуждения о ней Кузнецову совершенно не интересны. У него другие приоритеты и поэтический путь совсем иной, ибо время на дворе стоит зыбко-шаткое и совершенно непредсказуемое.

Станислав! Не прими за комплимент то, что я скажу сейчас: всегда, со дней нашей молодости, уважал и ценил твою обострённую правдивость в художественной оценке многих твоих коллег. Вот и о творчестве Юрия Кузнецова ты пишешь так же достойно и уважительно, как писал в прошлые годы о близких тебе по духу поэтах. И не только о них. Даже если в чем-то расходился с ними в показе и осмыслении российской действительности, то всё равно тебя волновала их судьба, как творческая, так и чисто личная. Вот прошло около 45 лет с твоего знакомства с Юрием Кузнецовым (а моё состоялось в том же ЦДЛе, чуть позднее, спустя лет пять), но тем не менее он до конца, как ты пишешь, не стал “твоим” поэтом. Сказано хоть и жёстко, но предельно честно. Я тебя вполне понимаю. Мы оба с тобой не приемлем “диктаторский культ воли”. И разве только мы одни? Конечно, нет!

В одном из интервью Кузнецов говорит, что к 25 годам он уже духовно почти сформировался, а значит, вышел на простор именно своего пути в поэзии. Его поэтическое слово, а говоря шире – художественная Вселенная стала наполняться собственной судьбой и многозначностью Мифа. Он твердо ощутил в себе то, что зыбко мерцало в его сознании. И его творческий дух окрылился и стал искать воссоединения Земных реалий с Небесной взлётностью.

*Для того, кто по-прежнему молод,
Я во сне напою лошадей,
Мы поскачем во Францию-город,
На руины великих идей.*

Совершенно согласен с твоим заключением о том, что “никакого мифологического или исторического духовного превосходства у Запада, унаследовавшего все свои хищные инстинкты и всю свою алчную волю от Римской империи, перед Россией с нашим Православием нет и не было”. Помнишь, мы говорили об этом с тобой по телефону? Известно, что Поликарпыч одно время был увлечён культурой Европы, потому и написал восхищённо: “Отдайте Гамлета славянам!” А зачем? Да у нас своих завались! В подтверждение ты приводишь творчество Лескова – “Леди Макбет Мценского уезда” и “Записки охотника” Тургенева.

Интересен и даже поучителен в твоей книге эпизод, связанный с польским литератором Збышеком (Янкелем), с его восприятием стихотворения

Юрия Кузнецова “Последний человек”. Оно потрясло Збышека, и он “завизжал то ли от восторга, то ли от ужаса и отчаянья”. Безусловно то, что он принял это откровение поэта, как говорится, на себя, и в самом деле не зная, что делать и как дальше жить “в разорённой антисемитской Польше начала девяностых годов”. Художественная правда Кузнецова потрясла и тебя, и Збышека, и, естественно, меня тоже. Благодаря богатой фантазии поэта призрак предстал перед внутренним зрением каждого из нас с абсолютной реальностью. И мы поверили поэту. Этот эпизод являет собою иллюстрацию большого поэтического дара Юрия Кузнецова.

И вот ещё о чём мне хочется сказать — о некоей воображаемой параллели между сказочным конём Кузнецова (“Сажусь на коня вороного, скачу через тысячу лет...”) и твоим, Станислав, настоящим, реальным, живым конём, имевшим такую образную и выразительную кличку “Шарабан”. Я зримо и осязаемо представил себе это трудолюбивое животное, ибо были и у нас подобные существа в то время, когда я работал в геологических экспедициях на Кольском полуострове, в Карелии, Якутии и Эвенкии. Там были, кроме лошадей, ещё и выносливые олени. Ты поистине сильно распалил моё воображение своим стихотворением “Поскользнулось копыто коня...” И ещё я обратил внимание на твой разбор словосочетания “путь-дорога”. У Николая Рубцова воспета Дорога, а “по сторонам от неё стоят сочные травы, колыхается зной над белыми головками ромашек”. Всё достоверно и поэтично. Но Кузнецов приял иное. Он приял Путь. А ведь зримых примет у Пути не видно, ибо подразумевается внутренний Путь развития, а стало быть, взросления Души и накопления мудрости.

Ты пишешь: “Его стихами можно было восхищаться, они могли вызывать удивление или ужас, они могли поражать наше воображение, но их было трудно любить”. Поверь, что это спорное утверждение, субъективное, личностное. Но мне верится, что ты, как и я, любишь многие-многие его стихи. Любишь выборочно. И по-настоящему. Лично я помню, при всей их сложности, даже наизусть. Они органично живут во мне. Мне порой кажется, что они существовали ещё до моего рождения. Что они были всегда. А теперь я их устно передаю другим людям, любящим поэзию, живущими с ней неразрывно.

А то, что ты впадал после прочтения кузнецовских стихов в “состояние душевной смуты, оторопи, отчаянья и всяких апокалиптических предчувствий”, — точно такое же происходило и со мной. Когда я впервые прочёл “Во мне и рядом — даль”, то сразу стал вспоминать, что я уже с чем-то подобным сталкивался. Но не в поэзии, а в живописи. Сразу всплыли в памяти картины Босха, Сальвадора Дали, Филонова. Включилось дремлющее подсознание. Поэтическое слово нашего поэта встряхнуло и разбудило его. Ты хорошо знаешь, что нет ничего на свете более жуткого, чем погружение в самого себя. Мы с внутренним трепетом отталкиваем от себя эти мысли и чувства, а вот Поликарпыч даже с неким нарочитым нажимом заставляет нас погружаться в себя, чтобы мы ощутили и познали силу и власть глубины души и сердца.

Юрий Кузнецов действительно, как ты точно заметил, “брезгливо относился ко всему личному, по его суждению, приземлённому и недостойному витать в высших олимпийских сферах”. Да, действительно, он был таков. Лично я убедился в этом при наших совсем не частых встречах в ЦДЛ, Переделкине, С-Петербурге во время писательского Пленума 1998 года и даже у него в квартире на Олимпийском проспекте, где я был у него вместе с поэтом Александром Медведевым в то самое время, когда он только-только получил эту квартиру. Именно там он нам прочитал недавно написанную поэму “Змеи на маяке”.

Хорошо, что твоя книга, Станислав, наполнена фрагментами твоей биографии. Интересно было узнать, где ты побывал, с кем общался на разных путях-перепутьях своей жизни. Тепло вспоминаешь реку Оку и Угру, Нижнюю Тунгуску и Варзоб, и Тянь-Шань, и многие другие отдалённые уголки страны. Ты жил “в окружении русско-советского простонародья”. И далее: “Меня окружали не символические образы Федоры-дуры или солдат всех времён и народов, а ербогачёнский охотник Роман Фарков, солдат Великой Отечественной, мегорский рыбак, афганец Степан Фёфёлов, старики и старухи из архангельских деревень”.

Из книги будет интересно узнать о взаимоотношениях двух замечательных поэтов, живших во время учёбы в Литературном институте под одной крышей

общезития по улице Добролюбова. Именно там всего один раз встретились Рубцов и Кузнецов. Это была короткая случайная встреча, произошедшая на общежитийской кухне. Меня в этом маленьком эпизоде поражает более всего то, что два русских национальных поэта не приблизились друг к другу, не подружились, а так отчуждённо и холодно оттолкнулись друг от друга. Вместо того чтобы обрадоваться, обняться и побрататься, они не почувствовали родства и не соединили нити дружбы, а наоборот – разорвали их. Мне грустно, больно и обидно за них, за того и за другого. И лишь в творчестве они, хотя бы по касательной, но, тем не менее, соприкоснулись в поэтическом пространстве. Я имею в виду рубцовские “Осенние этюды” и кузнецовскую поэму “Змеи на маяке”. Здесь я впервые узнал из твоего текста, что поэма посвящена Петру Палиевскому. Именно он рассказал поэту этот интереснейший сюжет из средневековой хроники.

Примечательно и то, что в твоей книге с особым восхищением отмечена одна из граней таланта Юрия Кузнецова – его обращение к русскому богатырству, к духовному и физическому подвигу русского человека. Скажем, к Сергию Радонежскому или к связисту Путилову из “Сталинградской хроники” и к другим персонажам, а не к венецианскому купцу и не к еврейскому аптекарю, изготавливающему и продающему яды. Попутно отмечу, что ты верно подметил, что надежда на русское богатырство, к сожалению, изрядно износилась. И как доказательство тому ты цитируешь стихотворение “Не поминай про Стеньку Разина...” Оно действительно воспринимается как переосмысление собственной прожитой жизни, хотя речь в нём идёт о трагических судьбах русских бунтарей – Степана Разина и Емельяна Пугачёва.